

Юрий Гончаров ВО ДНИ ОТЧАЯНИЯ И НАДЕЖД



Мелкий редкий снежок с самого утра косо летел над дорогами и пустыми, черно-рыжими, в стерне и сухом бурьяне полями. Это был первый снег наступающей зимы, которой было еще совсем не время ложиться, необыкновенно ранней в этом году. Как ни мелки и невесомы были снежинки, а к середине дня поля уже ровно, однообразно белели. Только дороги оставались по-прежнему черны — легкий пушистый снег сметало с закаменевшей грязи.

Ветхий старик в брезентовом плаще с прожженными на нем дырами, в фуражке с протертым до картона козырьком, низко нависающим на глаза, с кривой палкой в руке брел такую отвердевшую дорогой, с той усталой медлительностью, что бывает только у тех, у кого нет никакой спешки, никакого дела впереди — и даже цели своего движения. Дорога спускалась в широкие лога и снова восходила из них на плоские равнины. Ноги старика были обернуты мешковиной и шаркали галошами, привязанными к ступням теми же веревками, что оплетали его самодельные онучи.

Старик шел уже много часов, но думал он все одну и ту же думу, заполнявшую его и вчера, и позавчера, и все другие дни его странствий — что всегда в эту пору осени в полях весело, радостно зеленела озимь, рождая чувство покоя и уверенности перед будущим временем, но сейчас в полевом просторе повсюду только чернота голой, безжизненной земли, сухой бурьян да стерня на тех местах, где был колхозный хлеб, и его собрали немцы или заставили сделать это жителей, а потом свезли на свои склады весь умолот до последнего зерна. Нигде ни одного клока на будущий год не засеяно. Стало быть, ничего и не вырастет, непременно ждать лютого голода, павального мора. Но это — не страшно, — размышлял старик, — потому что народа осталось совсем мало, край весь выжжен, людей постреляно целыми деревнями, а у тех, что пока еще живы, немецкая власть отнима-

ет все, чем можно кормиться, непременно отнимет последнее, запрятанное, и никто не переживет даже зимы...

Черная ворона, тяжело взмахивая крыльями, летела куда-то сквозь порошение снега впереди над дорогой. В ней, одинокой, всклооченной ветром, с прорехами в крыльях, в ее неровном, шатком полете была такая же обреченность, та же неизбежная судьба, и старик, давно не видевший в полях ничего живого, проследив за вороной глазами, подумал: даже птиц, зверья полевого не стало совсем! Все делось куда-то, разбежалось, разлетелось, подалось вдаль, нутром своим, видно, чуя, что и им, безвинным и ни к чему не причастным, будет худо и губительно на здешней земле от той силы, что вторглась, нахлынула в железном громе войны и захватила ее в свой плен...

Старик бездомно бродил по округе уже третью неделю, ночуя где придется, кормясь тем, что удавалось найти в полях, на убранных огородах. За плечом у него висел на веревке мешок, совсем так, как когда-то прежде ходили нищие. Мешок был легкий, в нем лежали только котелок, железная ложка, кружка — и ничего из еды. Этот мешок он подобрал в чужой деревне, в других деревнях — посуду, чужие добрые люди дали ему штаны и рубаху, фуражку, тряпки на онучи и старые, но еще годные галоши. Своего у старика не осталось, все сгорело вместе с хатой, когда немцы ночью внезапно запалили всю улицу подряд, и старик выскочил босым, в белье. Только ватник и плащ, в которых он стерег колхозных коней на лугу, удалось выхватить из сеней, они висели близко, у самой двери, а в избу было уже не войти, немцы плеснули в окна керосином, в ней клубилось, гудело бешеное, всепожирающее пламя...

Со вчерашнего дня старик ничего не ел, если не считать десятка два колосков, что подобрал он на жниве. В деревеньках, через которые он проходил, с редкими живыми избами, ему ничего не подавали, а сам он робел

попросить, зная, как мало осталось у жителей. Но голод уже не томил старика, желудок его словно убедился в бесполезности своих желаний и прекратил их, подавленно и пусто молчал, как будто его уже и не было в старике вовсе...

Новый подъем дороги вывел к селению. Оно обозначилось вдали черными ребрами стропил сгоревших изб, уступчатыми столбами печных труб на тех местах, где от жилищ остались только зола и уголья, голыми по зимнему времени, а может, и от близких пожаров, стволами деревьев с обрубками ветвей. Виднелись и крыши, каким-то домам посчастливилось избежать огня, уничтожения.

Там, где черная, припорошенная, с четкими белыми колеями дорога входила в деревеньку, был вкопан столб с куском фанеры. На ней шевелило надорванными краями большого бумажного листа прибитое гвоздями объявление. Старик был неграмотен и не мог его прочесть, но такие столбы с объявлениями стояли возле каждой деревни, и старик знал, о чем они говорят. Они извещали, что подлежат расстрелу каждый, кто без особого разрешения немецких властей вздумает ходить из одной деревни в другую, и еще о многих правилах и запретах, которым теперь должны подчиняться все русские. И за каждое такое нарушение немецкий приказ назначал ту же кару: расстрел, смерть.

Старик равнодушно посмотрел на объявление, проходя мимо. Он совершил уже столько нарушений, так многократно подлежал немецким казням, что еще одно нарушение правил ничего уже не прибавляло нового и не страшило старика. К тому же в своих бездомных скитаниях он давно уже свыкся с тем, что рано или поздно одна из назначенных жителям смертей обязательно настигнет и его; как ни хитри, как ни старайся, а ее не обмануть, не обойти стороной, и ему было все равно, сколько еще продлится его жизнь — еще ли день, неделю, месяц или оборвется у первой же избы, где его встретит иноземный солдат в каске, с тупорылым автоматом на груди, или местный полицей, какой-нибудь деревенский Сенька или Банька, который получил от немцев нарукавную повязку и винтовку и зарабатывает себе жизнь и харчи собачьей своей службой и кровью своих же русских людей. Старик избегал больших дорог, шоссе и рейдерных, на которых много немцев, ездят их машины и мотоциклы и обязательно попадешь на патрульных, держался глухих, полевых, без людей и движения, в деревеньки заходил только самые мелкие, где не раз-

мешены немецкие солдаты, их госпитали, тыловые склады, но все же, случалось, его останавливали. И немцы, и полицаи. Старик бормотал нарочито бессвязно, как глухой или не совсем нормальный, тянул в пространство руку и, если перед ним были иноземцы, повторял на их языке: «хаус... хаус...». Так отвечал он и действовал в первый такой раз, и это ему помогло тогда и пока помогало в каждом новом случае; солдаты и полицаи, выбравив и пригрозив расправиться, если он попадется опять, отпускали его: ветхость, изнуренный и жалкий вид старика, очевидно, как-то действовали на патрульных, заставляли их отступить от приказа.

Ни одна собака не выбежала навстречу, не залаяла на старика, когда он вошел в деревенскую улицу. Немцам не нравилось, что собаки бегают вольно и лают на них. Жители молчали, прятали свои настоящие чувства, без радости и охоты, но — повиновались, а в собачьем лае было оскорбительное, дерзкое неповиновение, непокоренность, и по немецкому приказу полицаи повсеместно поубивали всех собак, а иные хозяева сделали это сами, чтобы не навлечь на себя беду.

Тонкой синевато-белой простыней снег покрывал улицу во всю ее длину и ширину. Ее не пятнали ничьи следы. Жители, кто еще находился в деревне, забившись, сидели по своим укромным углам; за месяцы оккупации у них был опыт жизни, из которого они знали, что для сохранности лучше не появляться без крайней нужды открыто, не попадать на глаза тем, кто теперь власть, суд и немедленная расправа.

У колодца с журавлем, однако, было натоптано. Старик проследил, куда, в какие дворы и избы ведут следы. Одна цепочка тянулась в ближайшую — низкую, кирпичную, в два тусклых оконца на улицу, с сенями из необмазанного жердняка. На шесте над скособоченной соломенной крышей торчала скворечня.

Старику понравилось, что изба со скворечней. Плохие люди не станут привечать птиц.

Старик направился к избе. Он продрог, ослаб, ему хотелось хоть недолго посидеть в тепле. На хлеб и другую пищу он не надеялся, но, может, хозяева нальют ему в кружку кипятку, уже и это щедрый дар, благо, он погрет себя изнутри.

Дошатая дверь в сенцы, стукнув шеколкой, скрипуче открылась внутрь. В сенцах было темно, хотя стены их сквозили широкими щелями. Старик, почти слепой после долгой белизны снега, не сразу нашупал другую

дверь, в избу, не сразу понял, как она отворяется, где у нее ручка.

— Можно к вам, хозяйева? — произнес старик голосом, который прозвучал для него незнакомо, как чужой, — так давно он сам его слышал и так от него отвык.

Изнутри никто не ответил. Старик в нерешительности стал на пороге. Уходить ему не хотелось, в приоткрытую дверь тянуло духом жилья: горьковатой сладостью остывшей печи, овчинной одеждой, кислицой чугунов, в которых когда-то готовился для скотины корм, да так они и остались немывыми под судной лавкой. Так схоже пахла и изба старика, пока она у него была, стояла в его деревне в ряду с другими избами над прудом с гусями и утками.

— Хозяйева, дома вы? — снова окликнул старик. — Обогреться дозволите?

— Кто там? — послышался неясный, то ли болезненно-слабый, то ли далекий мужской голос.

В избе был лишь один ее житель. Сероседой, всклокоченный, он мог быть старым, как вошедший старик, но мог быть и просто мужиком лет пятидесяти. Он лежал на печи, прикрытый полшубком, и теперь неловко ворочался на ней, садясь и спуская ноги в толстых шерстяных носках.

— Грейся, если сумеешь, — сказал человек с печи, рассматривая старика. — С позавчера не топлено.

— Верно делаете, — одобрил старик, опуская на пол возле двери свою суму, а сам примашиваясь возле нее на корточки. — Топку беречь надо.

— А ее нет вовсе, — ответил с печи человек. — Лес теперь немецкий, под запретом. Пойдешь — так убьют... Так, собираем что попадай, солому, будылья... Да и этого скоро не станет. — Тогда — будем сады свои жечь, сараюшки, сенцы...

— Надолго не хватит... — сказал отдыхающий старик, привалившийся спиной к стене. Глаза его смотрели тускло от истощения и усталости, а сочувственные слова были механическими, душа его не участвовала в них. Она настолько была переполнена своим и виденным горем, что новое горе — чужого человека на холодной печи — уже не затрагивало ее, не помешалось в ней.

— Это так, не хватит... — согласился хозяин избы.

Он опустил голову. Минут пять сидели молча; лохматый, заросший хозяин — в прежнем своем положении, свесив с печи ноги, сгорбившись под нависавшим над его голо-

вой потолком, старик — маленьким комочком у двери.

— Небожь поесть хочешь? — спросил хозяин.

— Теперь есть не просят... — отозвался старик.

— Проят, да нечего дать... — сказал хозяин. — Пошла моя баба на поле картофельное. Его уже десять раз перекопали. Не знаю, наберет чего, нет... Вот так кормимся... А что с огородов своих собрали — то немцы все дочиستا вымели. Говоришь, нет ничего, все сдали, редьки на тюрю покрошить — и той нет, так не верят, сами в погреба лезут проверять. Сколько уж раз обшаривали... Буряков на дальнем поле чуток оставалось, да там уже все полностью подобрали, туда и ходить нечего...

Хозяин почесал поперх одежды грудь под мышками.

— Издалека? — спросил он неподвижного странника.

— Орешинского района.

— Ваших тут много бродило, орешинских. Всех, кто без места, бродячих, они ловят — и на Курск. Там, говорят, лагеря, работать в них собирают... А у вас, в Орешинском, я знаю, сплошняком все спалено. За что они вас так?

— За окруженцев. Окруженцев прятали и есть им давали. Хотели народ наказать.

— У нас тоже кой-где так делали. Но у нас окруженцев мало было. Да и те быстро до своих утекли...

Хозяин опять почесал свое тело, — должно быть, давно не приходилось мыться.

— А семейство твое — что оно, как, имеется оно у тебя?

— Бабу мою на огороде убило, бомбежкой, еще когда наступали они. И хоронить не пришлось, яма в сажень глубиной, как раз где она картошку полола... Невестка с дитями жила, в аккурат, как войне начаться, погостить приехала. А назад уже некуда, она при муже в военной части находилась, на самой границе. Местность их сразу заняли... За Дон с колхозом я их направил. Да вряд ли успели. Он, говорят, танками к Дону раньше выскочил... А сын мой в армии. Он кадровый. Командир. Три шпалы в петлицах.

— Живой?

— Извешенья не было. Значит — живой.

— Могли и убить, — сказал хозяин без жалости к старику. Но это с его стороны была не грубость сердца, так все говорили в разговорах и гаданиях о судьбе близких, на всякий случай заранее приготавливая себя и других к худшему.

— Нет,— отрицательно качнул головою старик,— он живой. Где-то он воюет... Вот придут назад наши — и он с ними придет...

Старик произнес свои слова тихо, но с твердостью, будто знал это совершенно точно. Будто кто-то, безошибочно видящий все события наперед, доверительно шепнул ему об этом.

— А придут ли? — спросил хозяин с сомнением. Видно было, что сам он думает совсем обратное, и так при этом пал его дух, что он уже почти смирился с такими своими думами о будущем.

— Придут, — с той же уверенностью ответил старик. — Они и в ту войну хотели нас покорить. А не вышло. Не поддались.

— В ту войну они так далеко не заходили. А теперь — вон куда! А народу сколько побито! Не знаю, есть ли кому воевать. Может, уже и некому... А тебе я вот что скажу — ты это не всем говори, что у тебя сын командир, с тремя шпалами. Мне, к примеру, можно. У меня двое сынов в армии. Тоже не знаю — живые ли. Как ушли — так ничего об них и нет...

В избе заметно набирался сумрак, потому что за обмерзшими окошками меркло, коротенький ноябрьский день уже погасал.

— Ты на Тим иди, на Курск... — подал старику совет хозяин избы. — Каких туда гнали, немцы им говорили всем, там вам устройство будет. Жилье, еда, работа. Может, и правда. А так бродить будешь — с голоду помрешь.

— Я тут родился, жизнь вся прошла. Как мне свои места кидать? А там — я знаю, что будет. В хлева скотские загонят, а есть — один помет коровий дадут... Это они врут все... Устройство... Просто народ заманить...

— Может, и так... Поп наш такое же говорил...

— Церква у вас?

— Церкви нет, а поп объявился.

— И как же немецкая власть — позволяет его?

— Выходит — позволяет. На кой-то, стало быть, им нужно... Советская власть запрешала, а они, значит, вот какие — не против... Свободу, дескать, вам даем... Он в мельнице колхозной, — когда-то церкву на нее переделали, — помещеньице занял, молельню устроил. Иконы повесил, лампы. Освященный храм, говорит, его ничто испортить не могло. Все равно он под покровом божьим, святое место.

— И ходят? — спросил старик, но почти без интереса. Его несколько не расшевелило, не затронуло сообщение о попе, устроенной им церкви.

— Кой-кто ходит,— сказал с печи хозяин. — Водит народ душу. Сходи, глянь. В третьем доме от моего поп этот квартирует. Он тебе откроет. Он всем открывает, кто бы ни пришел, в урочный час, неурочный. Хоть ночью. Отец Поликарп его зовут. Нездешний он, откуда-то. Старый уже, постарше меня годов на десять, а то и пятнадцать... Поминанья читает. Бабы ему похоронки носят, кто раньше получил, а он по этим бумажкам служит... Вроде — поп настоящий, того еще времени. Так он всем говорит. А там — кто знает, как его проверишь. Может — просто насобачился где-то молитвам, кормится теперь поповством своим. Сейчас ведь всяк извертается, как только может. Люди ему харчишек несут. А кто не дает — ничего, не обижается, не прогоняет... Верно, зайди, покрестись на иконы. Душе легче станет. Глядишь, может, и помощь тебе выйдет. Это ведь до сих пор дело темное, бог, есть он, нет. А коли нет — так что там? Что-то же все ж таки над нами есть, не один же воздух пустой...

— Я от этих делов давно отшел, — сказал старик, зябко поводя под плащом плечами. За все время в избе он несколько не согрелся. В ней и нельзя было согреться, а хозяин ее не замерзал только потому, что на нем были ватные штаны и овчинная безрукавка поверх нескольких рубашек. — Да и не след мне в религию вдаваться, — подумав, добавил старик с серьезностью. — Сын у меня партийный, он бы не одобрил.

— А я ходил, — признался хозяин. — За сынов своих помолился. А они у меня оба комсомольцы. Ничего, им это не во вред. А я вроде бы им помощь сделал. Что я еще могу? Я еще с гражданской инвалид, у меня спина осколком перебитая. Воевать совсем негож. А то бы пошел сынам на подмогу.

Хозяин замолк, скорбя о такой своей доле — лишь сидеть на печке и безучастно ждать в стороне от своих сыновей. В избе опять потянулась долгая, унылая тишина. Качался маятник старых, засиженных мухами ходиков, тикали колесики, отмеривая время. Оно куда-то бежало в своем извечном движении, что-то несло, таило впереди, какие-то новые события, перемены. Какие? Для старика тиканье часов означало только одно: надо подниматься, уходить. В избе оставаться нельзя, хозяин не оставит, это запрещено тем, что написано на столбах с немецкими приказами, расставленными у каждой деревни.

Хозяину, видно, ходики напоминали о том же. Он смущенно пошевелился на печи, сказал, показывая старику и видом своим, и го-

лосом, что не говорил бы этого, коли бы не закон, что ими обоими правит:

— Ты бы шел, пора уже тебе... А то скоро полицаи с обходом пойдут. Они всегда под вечер являются. Бывает, и ночью. Да не один даже раз. Застанут в хате — это нам обоим каюк. Чужих не велено за порог пушать. А если кто вошел — так сразу же беги, старосте докладдай...

— Я понимаю, — сказал старик, выпрямляясь.

Он накиннул на плечо лямку своей тошей сумы, взял прислоненную к стене палку.

— Ну — прошевай! Спасибо, что позволил зайти, — сказал он хозяину избы.

Старик благодарил искренне, у него действительно было доброе чувство на сердце к немытому, заросшему, хворому человеку на холодной печи. Мог бы и не пустить, и не разговаривать так — открыто и с душой, а сразу же прогнать. Старик встречал и такое в своих блужданиях. Он не обижался. Вместо обиды он жалел прогонявших его людей: не сами ведь они это, а страх, каким запугали их немцы, это он его гонит, страх этот, это немцы гонят его...

Старик вышел наружу. Сухой редкий снежок все так же поросил из низкой облачной пелены, закрывавшей небо, добавлялся к тому, что уже устилал землю. Ноги старика ступали в молодой снег беззвучно, как в козий пух, но когда на пути под снегом попадались замерзшие лужицы, их ледок хрустко и звонко потрескивал в тишине на всю пустынную, погружающуюся в синеватый сумрак улицу. Никаких огней не светилось по окнам, то ли людям нечего было зажигать, то ли они намеренно не зажигали огня, чтобы не возбуждать чужого внимания. Лишь в одном доме слабо желтело за оконной наледью. Это был тот самый дом, в котором, по словам человека на печи, поместился пришлый поп.

Старик своей медленной усталой поступью прошел мимо, но что-то неясное тянуло его зайти, поглядеть на попа. Он остановился, постоял в нерешительности, двинулся было дальше, но, сделав несколько шагов, повернул назад.

В избе, в которой желтело оконце, находилось несколько женщин. Одна, пожилая, была хозяйкой, другие, такого же и помоложе возраста, — гости. Эти женщины сидели на лавке возле двери, одетые, в платках, — как пришли. На столе в блюдечке с каким-то маслом светился каганец, а у края стола сидел мужчина с белой бородой, в черном пиджаке, стеганых брюках, кирзовых сапогах, ел мел-

кую картошку, счищая с нее кожуру и макая в соль, насыпанную в деревянную ложку.

Вошедший старик догадался, что седобородый, в кирзовых сапогах, это и есть отец Поликарп, а картошка, которую он жует, — приношение ему этих женщин на лавке, — с темными, запавшими глазами. А добыта эта картошка, вероятно, на том же самом десяти раз перекопанном колхозном поле, куда пошла жена хозяина избы, в которой старик грелся. Вглядываясь в попа, старик про себя также отметил, что кроме картошки и соли ничего больше нет на столе перед ним, ни крошки хлеба, даже намек на то, что он был, лежал, да поп уже съел его. Значит, совсем нет хлеба в этой деревне; было бы хоть чуть — уж попу-то женщины не пожалели бы куска, принесли.

— Здравствуйте! — глухо, смущаясь, проговорил старик всем, стаскивая с головы фуражку и кланяясь. Глаза его заслезились, замигали от острого, точечного язычка пламени, трепетавшего на краю блюда.

— Тебе что, старый? — спросила хозяйка избы — в солдатском ватнике, темном платке, больших мужских валенках. Она сгребала в устье печи в кучку жар, оставшийся от варки картошки, чтобы он сберегся подольше. — Притворяй плотней дверь-то, и так стынем...

— К батюшке я... — проговорил старик с обнаженной головой. — Вроде здесь он проживает...

— Вот он, отец Поликарп, — показала движением головы и глаз хозяйка. — Ты что хотел-то?

— Извиняйте, что не вовремя... — с еще большим смущением сказал старик, переминаясь у порога. — Просто так я. Поглядеть.

— Гляди, — сказал седобородый дружелюбно. Появление старика несколько не перебило ему еду, он продолжал так же спокойно и не спеша жевать картошку.

Старик, не спуская с отца Поликарпа глаз, неловко еще раз поклонился, — теперь уже только ему одному.

— А что ты, собственно, хотел во мне увидеть? — спросил мужчина, сохраняя свое дружелюбие, но при этом как бы не совсем понимая старика; должно быть, хотел разгадать сам — кто это перед ним, с чем пришел. — Если как человек, — сказал он, продолжая, — так я такой же самый, как прочие... У меня даже имя родительское совсем простое, обыкновенное — Поликарп Васильевич...

Какое-то затруднение владело стариком.

— А вы, извиняйте... — проговорил он несмело. — Интересно мне знать... — Он за-

мялся, ища слов, которые бы не обидели постояльца. — Священник вы настоящий, в сане, или — так, по обстоятельствам?

— Народ мне верит, а это — главное. Значит, в сане. А вообще — настоящий, — сказал мужчина. Глаза его глядели ясно и прямо, не тая чего-либо скрытого. Он взял из миски еще одну картофелину, покатав в пальцах, остужая, стал сдирать кожуру. — Рукоположен преосвященным Филаретом в одна тысяча восемьсот девяносто девятом году.

— Девять лет мне было, — произнесла хозяйка. — С восемьсот девяностого я.

— А документов на это не имею, показать не могу, — продолжал постоялец, как бы заранее предупреждая на тот случай, если его слов оказалось для старика мало и он повел бы свои расспросы дальше. Голос его был спокойный, ровный; должно быть, про документы свои ему приходилось объяснять часто, он полностью к этому привык и такие объяснения его нисколько не обижали. — Было, все было, да ничего не стало, — подчеркнуто сказал он через короткое промедление. — Имею одно слово мое. Можно ему верить, можно не верить, настаивать на сем не могу, это уж кому как пожелается. У кого как душа лежит.

— Как же не верить! — в некотором даже испуге и в готовности дать отпор, если бы вдруг нашлось обратное мнение, воскликнула хозяйка. — Для чего бы человеку такой обман на себя брать? Ни один обман не прощается, а уж такой — это и перед людьми, и перед господом грех страшный...

Ее лицо, которому платок, туго облежавший голову, оставлял узкую шель, было затемнено, света каганца у печи не хватало, чтобы сделать его видным, но глаза выступали и во мраке, блестели, и выражение их было различимо: в них, будто глубокая внутренняя болезнь неостановимая, изо дня в день мучающая лихорадка, тлела прочно утвердившаяся скорбь, — та, что сразу же разлилась по женским глазам и лицам, как началась война, понесли по домам повестки, а вскоре — и другие бумажки, похоронные известия на сыновей, мужьев, братьев. Такая же печать лежала на лицах и остальных женщин, тех, что молча сидели на лавке, но у хозяйки ее выражение было особенно резким, полностью подавлявшим в ее лице все. Вероятно, были на то причины, какая-то своя особая, отличающая ее от других женщин, судьба.

— Что еще спросишь меня, мил человек? — с улыбкой произнес постоялец. Он дожевал последнюю картошку, вытер рот,

обмахнул широкую бороду, отряхнул руки — ладонь о ладонь.

— Церква, вроде... слышал я... — с заминкой проговорил старик. — Народ, вроде, пощещает...

— Верно. Приходит народ. На то и церковь, чтоб люди в нее ходили. Вот как раз я туда иду, приготовления к службе надо сделать. Пойдем со мной, коли есть нужда.

Отец Поликарп встал с табуретки. Роста он оказался небольшого, но крепкого сложения и еще в силе, это было видно, когда он одевался, натягивал на себя черный ватник, а поверх — рыжий деревенский полушубок с сильно вытертой внутри шерстью.

Женщины остались в избе.

— Мы придем, — сказала хозяйка вслед мужчинам. Отец Поликарп повел из сенец не в уличную, а в дворовую дверь.

— Тут пройдем, задами. Меня-то знают, а ты, дедушка, посторонний. Поменьше глаз — так-то лучше...

Со двора он вышел на тропу через деревенские огороды и зашагал по ней скоро и уверенно. В полушубке, сбитых сапогах, облезлой шапке-ушанке, со своей чуть раскоряченной валкой походкой, отец Поликарп смотрелся обыкновенным деревенским жителем. У старика пропала перед ним робость.

— Вот вы служите, церкву открыли... — сказал старик, задыхаясь от уторопленного хода. — Вам такое указание откуда-то? Или по собственному разумению?

Священник сбавил шаг, чтобы идти ровень со стариком.

— Есть указание у меня, а как же! Голос сердца моего, разума. Он мне место мое в данных обстоятельствах указывает и на деяния меня направляет. Я сан свой помню, не отрекся, он на меня по жизнь мою возложен. А сан мой таков — всегда при людях наших русских быть. Во всех их радостях человеческих и бедах. И у купели новорожденного, и у одра умирающего. Разделить веселие и в горе утешить, и на подвиг терпения и мужества благословить... Как же мне долг свой не исполнить в беде такой великой, всенародной?

— Наша местность давно уж без церквей... А вы где-то священствовали?

— Нет, лет уж тому пятнадцать, как оставил я церковную службу. Не по своей, разумеется, воле... Жизнь моя после этого сложно происходила, многообразно. Пришлось и потерпеть за свой сан... А в самый канун войны я на кирпичном заводе служащим состоял, по счетной части. За прошлое меня уже не винили, получал зарплату, даже премии, как

хороший работник. Семьи, к сожалению, лишился еще в трудные свои годы. Расстались, чтоб облегчить им участь. Ну, а потом уже не соединились, связь оборвалась... Существоваю в одиночестве. Мне уже на седьмой десяток. В такие годы одному не просто... Но люди помогают. Коли сам с добром — и тебе добро... Сюда, налево, тут дорожка, замело ее... Давайте-ка я вперед пойду...

Сквозь сумрак и снежную порошу расплывчато темнело длинное строение.

Отец Поликарп вдруг резко приостановился, рукой задержал и старика.

С минуту они стояли, вглядываясь.

— Показалось... — облегченно сказал священник. — Думал — полицаи. Дня без них не проходит. Комендатура в Макарове, пять верст. Напьются для храбрости — и по окрестным деревням шарить...

— Все ж таки боитесь их? — сказал старик.

— Я им неподвластен. Я служитель культа, с разрешения немецкого коменданта, при Советской власти потерпевший. Полицаям все это известно. Но ведь если бы они люди были, а то отпетые башибузуки. Половина уголовников. Им человека убить — и на секунду никто не задумается. Иудино племя. Каждый уже счет потерял своему душегубству. Но отплатится им за злодеяния их сторицею!

— Кто ж их покарает, басурманов! — с тяжким удручением произнес старик. — За ними сила какая!

— Постигнет кара. Господь не оставляет такие проступки без воздаяния. Они врагам иноземным предались, кровь народа своего проливают. А это — как мать свою, которая во чреве носила и на свет родила, молоком своим вскармливала, предать и истреблению подвергнуть...

Длинное строение оказалось колхозной скотной фермой. Двери были распахнуты, висели на петлях криво. Внутри было безжизненно и пусто. Неподалеку тянулись другие сараи — колхозные амбары. Они тоже выглядели ограбленно, мертвое оцепенение стыло в их пустых стенах.

Бывшая церковь стояла без колокольни. Ее можно было бы не узнать, так перестроили здание, приспособивая под мельницу, если бы не узкие окна в ржавых решетках, широкие, кованые, округлые вверху двери на засовах. За окнами густела угрюмая тьма, угадывались какие-то колеса, цепи, механизмы.

Священник оглянулся по сторонам, в этих его почти произвольных движениях была привычная настроенность, готовность к

опасности. Достал из кармана ключи, отпер замок на дошатай пристройке к зданию. Внутри, в потемках, отпер еще дверь. Возгорелась свеча. Старик, вслепую двигавшийся за священником, разглядел, что находится в тесном помещении с кирпичными стенами, высоким сводчатым потолком. Прежде, вероятно, это был церковный придел с небольшим алтарем, а при мельнице тут была просто кладовка или, быть может, контора с книгами учета о помоле зерна. Штукатурка со стен осыпалась давно, оставив голый кирпич; для опрятности он был выбелен известкой. На стене, противоположной входу, висело десятка полтора мелких икон, таких черных, что едва проступали нарисованные на них лики. А две в центре были покрупнее, в белых металлических окладах. Перед ними горело по лампадке — крохотно-бисерными, сине-желтыми огоньками.

— Убранство от жителей, что у кого нашлось, — пояснил священник, ставя свечу на аналой. — Но суть не в убранстве, не в красоте внешней. Господь слышит обращенные к нему слова, откуда бы они ни исходили. Из роскошного чертога и убогой хижины, из глубокого подземелья и сквозь тюремные запоры...

Позванивая связкой ключей, священник отпер в глубокой нише еще одну неприметную дверь и, наклонившись, проскользнул в нее, оставляя старика наедине с иконами. Очевидно, он хотел сделать те приготовления, о которых говорил, одновременно давая старику возможность в одиночестве помолиться; совершить то, что повлекло его в церковь.

Оставшись в тишине, старик некоторое время стоял на своем месте, шурясь от свечного пламени, затем приблизился к иконам.

На одной из больших была Матерь Божья с младенцем в руках. Она смотрела кротко, женственно и печально. Так же кротко, незащищенно смотрел с ее рук новорожденный мальчик. Мать, казалось, ведала, уже наперед знала, какая жестокая судьба ожидает ее сына в мире. У старика подкатила под сердце жалость от кротких женских глаз, смотревших с иконы и как бы просивших защиты от зла себе и своему младенцу. Страдалица, безответная и покорная, с сыном, которого никто не защитил, не смогла защитить и она сама... Что может сделать она сейчас в земном мире с таким разгулом злодеяния, чем помочь людям, сама нуждавшаяся в их помощи, так походя на тысячи матерей вокруг, в городах и селах, лежащих в руинах, черных от дыма пожарищ... Такие же малые, испуганные дети у них на руках, а обвешанные оружием немцы

сожгли их дома, отняли у них еду. А сколько убили — вместе с детьми бросили во рвы, ямы... И все, что они могут в ответ, эти матери, — только смотреть на своих мучителей вот так же, с глубоким страданием в глазах, с бессильным укором... Матерь Божья, мать человеческая... Ни восстать ей не дано грозно и мстительно, ни проклясть угрожающе, чтоб охватила смута и дрожь полчища врагов, чтоб остановили они поднятое свое оружие, убоявшись содеянного, справедливой расплаты...

Старик перевел глаза на другую икону и словно бы увидел самого себя — по дряхлости и преклонности лет. Николай Угодник. Лик темный, от долгожития коричневый, волосы — белые, ниспадающие. В глазах — добро и внимание, готовность всех выслушать и каждого понять. Но что он один, такой ветхий и слабый, что его сила перед такой несметной ордой, ее грохочущим оружием! Сколько и таких стариков убили они на своем пути — на порогах хат, изб, слабыми своими силами пытавшихся защитить свои дома, свои семейства, тоже бросили во рвы — с раскинутыми руками, беловолосых, залитых своей и чужой кровью...

Безнадежное чувство, впервые такое затопляющее, росло внутри старика, отнимая и вконец руша те крохи светлой веры, что, несмотря на все, еще держались в нем. Колени его дрожали, мелко тряслась голова, слезы сползали по сухой коже изможденного, стянутого морщинами лица.

Надо было все же что-то произнести, пусть и его услышат там, куда возносятся голоса всех, кто молит о заступничестве и избавлении. Но старик не помнил ни одной молитвы, он давно уже забыл их и не повторял ни вслух, ни про себя, а те слова и чувства, что были в нем, не складывались в связную речь. И что говорить, куда донесется его голос, кто будет заступником, избавителем, если такое опустошение в народе и армии и нет среди живых и его Ивана.

Старику вдруг явственно и беспощадно пришло это в сознание. Он все время думал о своем сыне как о живом, постоянно твердил себе это, гнал дурные мысли, а сейчас, будто это была точная, дошедшая до него весть, ощутил холодную пустоту. Нет Ивана, нет, это так, давно уже нет, второй год, с первых же дней войны... А то бы разве случилось такое — чтоб так далеко прошли враги, одержали такие победы! Разве допустил бы до этого его сын, будь он живой и в руках его оружие, чтоб у родного дома убили его мать, спалили

всю его деревню, чтоб отец его оказался у немцев в плену, всего лишенным и все потерявшим, бездомным и сирым бродягой, в живые моши источенным голодом...

Какой он был ладный, красивый, сильный, когда заезжал последний раз проведать отца с матерью! В командирских ремнях, с малиновыми петлицами... С ним были два его товарища из полка. Ивана совсем не ждали, не было об этом ни письма, ни телеграммы. А он ехал с друзьями по делу, путь их проходил близко, и было у них немножко времени — и они завернули в деревню. И правильно Иван сделал, — будто знал, что с родителями ему уже больше не повидаться... Было лето, июнь, косили траву. Сын и его товарищи не захотели бездельничать, скинули ремни, гимнастерки и, босые, в голубых майках, пошли на луг к бабам и мужикам, взяли в руки косы. И с какими же молодецкими замахами, с какой радостью с детства знакомого им труда работали они на лугу вместе со всем народом! Мать принесла им из погреба холодного молока, и они, отдыхая, по очереди пили из крынки, с влажными от пота, взгоряченными лицами, травяными былками в волосах, все трое как на подбор белозубые, широкие в плечах, схожие чем-то, как братья...

Уезжать им надо было следующим утром, с первыми проблесками зари. Спать они легли во дворе, на сене. Пахло мятой, во все небо густо сверкали звезды, была тишь, такой покой, такое благо, что казалось — всегда будет только так, ничто не может поколебать эту мирную тишину, нарушить это благо. Иван, его друзья, тысячи таких рослых, красивых, сильных парней в зеленых армейских гимнастерках не дадут свою землю в обиду, защитят, отстоят ее при нужде. Можно отбросить, забыть все тревоги, не держать их ни в мыслях, ни в сердце...

И вот — всего год с небольшим с того счастливого дня, с той счастливой ночи...

Уже все лицо старика было мокро от слез. Трясушаяся голова его опускалась все ниже и ниже...

Тихо скрипнула дверь, появился отец Поликарп. Он переоделся, снял полушубок, шапку, теперь он был в черной рясе до пола, волосы его были ровно расчесаны и, закрывая уши, опускались до плеч. Но кирзовые сапоги остались на нем и громко стучали каблуками по каменному полу. В руках он вынес тяжелую толстую книгу в лиловом бархате, с медными застежками; подойдя к аналою, он положил книгу на косую его поверхность, раскрыл на закладке, поправил покривившуюся свечу.

Старик утер ладонью лицо, нагнувшись, подобрал палку и фуражку, они выпали из его рук, и нашарил он их не сразу, пол кутала тьма, в которой его глаза, залитые влагой, ничего не видели.

— Благодарствую, — сказал старик священнику. — Пошел я.

— Заночевал бы, — предложил священник. — Я могу направить. Скажешь, от меня, — примут.

Старик помедлил, колеблясь.

— Люди надежные, — продолжал священник. — Довериться можно. Они уже многих принимали. И не таких, как ты...

— Нет, лучше я пойду... — решил старик, пересиливая в себе соблазн человеческого жилища. Большой все-таки это риск — не для него, для тех добрых людей, что укроют его по слову священника.

Старик приблизился к двери, протянул руку, нащупывая, как ее открыть.

— Я выведу, — сказал отец Поликарп, беря с аналая свечу. — Не споткнись, порог тут...

Старик обернулся.

— Что будет-то? — глухо, все еще со слезами на лице, спросил он.

Его трудно было слышать и понять, но отец Поликарп со свечою в руке понял, о чем он спрашивает, что томит старика.

— Гибель и изгнание супостатов, — ответил он, ни секунды не раздумывая, как говорят такое, что давно обдуманно и решено и готовым лежит в мыслях и душе.

— Силы нашей нету уже, — горестно сказал старик. — За Дон уже отступили. А там и до Волги недалеко. А Волга — это уже России конец...

— Соберется сила. Не вся еще она. Тышу лет Россия стоит. Тышу раз враги на нее нападали. А никто одолеть не мог. Наполеон первопрестольную взял, пожаром дотла сжег. А назад бежал, и все его войско погибло. Побегут и они.

— Побегут?

— Непременно. Проклиная день и час рождения своего, день и час своего супостатства.

— Исполнится ли? — с сомнениями покачал головой старик.

— Истинно так! — твердо, будто такой исход зависел от него лично и он за него ручался, сказал отец Поликарп. Свеча в движении сквозняка горела в его руке высоким пламенем, как бы подтверждая решительную веру священника.

— Спасибо за слова такие, — сказал старик.

Он еще помедлил малость у двери, как будто набираясь чего-то в запас перед своей дорогой во тьму ночи, затем протянул руку, отворил дверь.

— Людей жалко, людей извели... — плача, сказал старик. — Сердце от горя рвется...

— Бря много, — подтвердил священник. — Одно сейчас: духом не пасть. Апостолов наших помнить — как они говорили народу в бедах: крепитесь и мужайтесь! Неправедно взявший меч — от меча и погибнет!

Тьма снаружи приобрела уже чернильную густоту. Выйдя, старик после блеска свечи, оставшегося в его глазах, поначалу ничего не различал перед собой. Затем зрение его освоилось, он увидел кусты и деревья близкого кладбища, столбы с оборванно повисшей проволокой. Он пошел на них и ступил на дорогу с глубокими колеями в замерзшей грязи.

Кто-то ехал по этой дороге ему навстречу на телеге. Она катилась, гулко гремя колесами по твердым колчам, слышались голоса нескольких людей, которые в ней сидели и громко переговаривались. Кто мог так бесстрашно гремять телегой, во всю силу голосов, даже весело, перекликаться в просторе истерзанной, ограбленной, подавленно молчаливой земли? Скорее всего, это ехали полицы, которых все боятся.

Старик поспешно отступил с дороги в сторону, укрылся за столб.

Телега, дребезжа и звякая железом, темным пятном прогремела мимо. Тьма не дала разглядеть, сколько на ней человек, как они одеты, чем вооружены.

Старик проводил ее слухом и, когда шум ее движения отдался, выбрался на дорогу и опять побрел по ней мелкими, слабосильными шажками, помогая себе палкой.

Он шел, не ведая, куда тянется дорога, куда может она его привести, зная только одно: надо поскорее найти себе ночлег, пока еще не скорчил его мороз и есть еще у него малая толика сил. В каком-нибудь совсем безлюдном месте, чтобы никто не понес из-за него наказания, — как ночевал он прежние ночи. Они были тоже неласковы, холодны, но все же не так, не по-зимнему...

Он ждал, что набредет на брошенное пепелище — остатки какого-нибудь небольшого хутора с глинобитными хлевушками или сараями. Или на полевою ферму с каким-нибудь закутком, который его укроет от стужи, и он перетерпит в нем долгую ночь.

Но версты оставались позади, а никаких строений не попадалось, лишь пустые снеж-

ные поля, закутанные тьмой, простирались по обе стороны от дороги.

Наконец глаза его что-то приметили. Это оказался стожок соломы, одетый пластом снега с той стороны, откуда весь день несло его ветром.

Силы старика были на исходе, он уже не мог идти дальше, искать убежище надежней. Постояв в раздумье у стожка, сгорбившись и дрожа под своим брезентовым плащом, задубелым от мороза, чем дальше в ночь, тем все сильнее забиравшим, старик стал раскапывать солому с подветренной стороны, устраивая себе в ней логово. Солома была жесткая, колкая, старик дергал ее пучками, углубляясь в стог, заваливая надерганными охапками вход в свою нору.

Внутри стога было тихо и покойно. Старик, разогретому своей работой, даже показалось — тепло. Но это было обманчивое чувство, оно продолжалось совсем недолго. Едва старик лег, сжавшись комком, подтянув к груди колени, он тут же почувствовал холод, идущий от промороженной соломы и снизу, от близкой земли. Холод охватывал его клешами со всех сторон, с ним не могло совладать слабое тепло его тошего стариковского тела, медленной его крови. Окружающий холод постепенно пересиливал, все глубже забираясь в старика. Первыми стали стыть, терять чувствительность ноги в мешковинных портянках и галошах, потом спина и плечи,

кисти рук, хотя они были прижаты к груди. Старик чувствовал, как убывает, гаснет внутри него тепло, замедляется и без того вялая кровь. Он понимал, надо вылезти из стога, разогреть себя быстрыми движениями и идти дальше в надежде на лучший приют, но энергии уже не было ни на что, а сознание погружалось в какую-то непреодолимую, сладкую дрему, которую не хотелось и невозможно было прервать...

Утром при огненно-пурпурном свете морозного солнца, длинных лазурно-синих тенях от каждой былинки, торчашей над снегом, к стогу подошла рыжая лиса. Она, таскавшая когда-то из деревень кур, кормилась теперь в поле мышами, научилась вынюхивать их в таких стожках, быстро разгребать солому, придавливать лапами ускользающих зверьков и тут же схватывать их острыми зубами. Лиса шевельнула солому в низу стожка, замерла, насторожив слух и чутье. Внутри шуршали, попискивали мыши. Они уже почуяли присутствие лисы, знали, что это для них значит, и беспокоились.

Вдруг лисьих ноздрей, кроме запаха мышей и соломы, коснулось еще что-то. Лиса вздрогнула, напряглась, как струна. Она еще раз потянула носом, вбирая в себя запахи, исходившие от стога, и в следующий миг, как отброшенная какой-то пружиной, кинулась прочь длинными прыжками, стеля за собой пламя своего пушистого ярко-рыжего хвоста...

1979

